

## Русский человек и Кавказ

Культура и общество. Альманах Фонда им. Д.С. Лихачева. Вып. 2-3. СПб., 2006, с. 112-131

Тема, заявленная в названии очерка, отнюдь не исчерпывается этнографическим, военным, колониционным аспектами. Все гораздо сложнее. Само движение России на Кавказ имеет значительно более глубокие причины, чем военно-стратегические, геополитические и экономические. В данном случае речь пойдет о культурно-психологическом аспекте, игравшем огромную роль в российско-кавказской драме.

Кавказ как культурно-психологический феномен возник в сознании русского просвещенного дворянства в момент, казалось бы, для этого совершенно неподходящий, - в середине 1810-х годов, после военного триумфа, когда русский дворянин имел все основания для гармоничного самоощущения и удовлетворения своей исторической ролью. Однако именно в этот период дворянский авангард входит в полосу тяжелого психологического кризиса. Чрезвычайно чуткий к фундаментальным тенденциям эпохи Петр Андреевич Вяземский писал Александру Ивановичу Тургеневу сразу после взятия русскими войсками Парижа, т.е. в 1814 году: "От сего времени жизнь наша будет цепью вялых и холодных дней. Счастливы те, кто жили теперь!"

Предпосылки для кризиса появились раньше. Тут надо вспомнить тяжкое разочарование, которое обрушилось на просвещенную часть русского общества в конце XVIII века - отчаяние от катастрофических результатов "века Просвещения". Молодое русское дворянство ощутило усталость от культуры этого века. Нужны были не только новые идеи, но и новые сферы приложения сил. С 1805 года такую возможность русское дворянство получило благодаря Наполеону. Войны 1805, 1807, 1812-1814 годов дали возможность выплеснуться не только физической, но в неменьшей степени духовной энергии. Русский дворянин в этой титанической борьбе решал задачи мирового масштаба. И понимал это.

113

Кризисное сознание зародилось в пост-петровскую эпоху, когда произошел разрыв между самовосприятием человека, формирующегося в период крупных исторических сдвигов, и его реальным положением вытесненного из сферы крупного исторического действия. Кризисное сознание, наряду с политико-экономическими факторами, объясняет стремительную деградацию русского дворянства в XIX веке, ужасавшую Пушкина. Просвещенный дворянин, осознавший свои возможности и почувствовавший себя человеком историческим, оказался - по контрасту с минувшими годами противоборства с великим Наполеоном, в "мертвой зоне". "Цепь вялых и холодных дней..." Дело было не в отсутствии поля деятельности, но в масштабах деяний.

Именно психологическим дискомфортом, вызванным резким изменением масштабов, не в последнюю очередь объясняется всплеск разнообразной активности дворянского авангарда, имеющей оппозиционную власти окраску. В том числе деятельности, имеющей утопический характер, - "Союз русских рыцарей" Дмитриева-Мамонова и Михаила Орлова, затем стремительный рост масонских лож и порыв к мистическому опыту, а параллельно и тайные общества.

В этой ситуации и определилась особая роль Кавказа. Достаточно вспомнить паническое настроение в 1816 году Ермолова, которому прочили командование гренадерским корпусом - далеко не последний по значимости пост в русской армии. Но

Ермолов упорно интриговал, стремясь получить назначение на Кавказ. "В Европе нам не дадут ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам". Ермолов с ужасом чувствовал близость "мертвой зоны", того, что в наше время назвали "застоем".

Александровская эпоха после наполеоновских войн представляется нам временем, полным движения. Но Пушкин писал в стансах "Друзьям", оправдывая свое сближение с Николаем: "Россию вдруг он оживил Войной, надеждами, трудами". "Оживил..." Для активного дворянства стремление на Кавказ - надежда на изживание кризиса, внутреннего дискомфорта, динамизация застывающего психологического пространства. Позже Константин Леонтьев писал об омертвелости метрополии и животворной роли окраин. Но если для Леонтьева окраины - Кавказ, в первую очередь, - благотворны как психологические пространства, в которых сохраняется традиция, противостоящая разрушительному либерализму и европейской уравнительности, и потому их надо сохранять в первозданном виде, то для другого мыслителя и практического деятеля того же времени - генерала Ростислава Фадеева Кавказ - средоточие враждебной для России энергии, враждебной всему христианскому миру энергии вытесняемого из истории мусульманства, энергии, которую необходимо подавить. Два незаурядных мыслителя выразили две взаимоисключающие тенденции русского общественного сознания последнего периода Кавказской войны, эпохи резкого оживления политического прожектерства.

И эта взаимоисключаемость двух сильных тенденций свидетельствует о парадоксальном состоянии общественного сознания, возбужденного внезапно открывшейся после смерти Николая I и снятия запрета на информацию с Кавказа картиной загадочного края и необходимостью определить к нему свое отношение.

Этому предшествовал длительный и многообразный процесс возникновения уникального явления, которое можно определить как "кавказскую утопию". Она складывалась из чрезвычайно разнородных элементов. В отличие от XVIII века самоформирование дворянства в постнаполеоновскую эпоху было завершено, а власть не могла и не хотела поставить перед дворянским авангардом задачи, достойной его самопредставления. Произошел окончательный и болезненный разрыв между самопредставлением и реальной ролью. Экспансия оказалась наиболее простым и доступным приложением сил. Однако экспансия на Кавказ несла в себе мощный экзистенциальный смысл.

Мир Кавказа отнюдь не был идиллическим, но для реализации принципа психологической компенсации этого и не требовалось. Символом Кавказа для русского человека были горы - тип ландшафта, резко контрастировавший с российской плоскостью, антитеза Великой русской равнины. Если мы вспомним "дорожную лирику" русских поэтов, то окажется, что доминирующий элемент пейзажа - степь, равнина, подавляющая своим однообразием. Разумеется, среднерусский ландшафт гораздо разнообразнее, но нам важна именно доминанта восприятия. Горы очаровывали русского дворянина при первом своем появлении на горизонте. Горы сами по себе были вызовом жизненной тривиальности. Это был мятеж природы против унылой упорядоченности. Горы - пространственная вертикаль - приобретали смысл, далеко выходящий за пределы топографии. Радикальная смена рельефа была не главной, но достаточно важной составляющей взаимоотношений русского человека и Кавказа. Из характера горного пейзажа вырастала философская концепция края. Война в горах, однако, переключала восприятие горного ландшафта в иной, так сказать, регистр.

Полковник Константин Бенкендорф, человек того типа, который интересует нас прежде всего, писал о впечатлениях похода в Дагестан:

"Воздух на больших высотах отличается необыкновенной прозрачностью, с глаз как бы спадает какая-то завеса, и поле зрения увеличивается почти вдвое. С полным удобством мы как бы парили над этим нагромождением скал, над этими чудовищными трещинами и пропастями, которые сходятся, сплетаются, но нигде не прерываются, составляя в общем страну гор, именуемую Дагестаном. Мы не встречаем здесь ничего, подобного строению известных нам горных стран, где соединение горных цепей, возвышение и опускание хребтов следует известной системе. Здесь - целый мир обломков и развалин, здесь все перемешано, все разбито, все в беспорядке; точно чудовищные волны океана как бы внезапно застыли и окаменели в бурю; это полное изображение первобытного хаоса.

Восхищаешься потрясающей красотой величественного и внушительного зрелища, но вместе с тем испытываешь чувство ужаса, как бы очутившись перед воротами ада.

Отсюда понятно отвращение, внушаемое нашим бедным солдатам грозной природой Дагестана, и та захватывающая тоска по родине, от которой они гибнут, вспоминая широкое раздолье этой родины, ее зеленые, слегка волнистые равнины, богатые и цветущие, веселые субботние хоровые песни и хороводы и церковные воскресные службы.

Сколько раз замечал я, как наши солдаты вздыхали о прелестях Чечни, между тем как там их отовсюду подстреливают, и каждый переход по лесу стоит чьей-нибудь жизни. Но там, по крайней мере, есть трава, есть лес, которые все-таки напоминают родину, а в Дагестане одни скалы да камни, камни да скалы.

«Когда бы только избавиться от этих проклятых гор». Нельзя не повторить с Ермоловым его энергичного чисто русского выражения, вырвавшегося у него, когда он с вершины Караная, как и теперь мы, в первый раз увидел у своих ног этот огромный лабиринт пропастей, громадных гор, расколотых и перевернутых, образующих это море камней и скал Дагестана".

117

Тонкий и образованный Бенкендорф в этом романтическом пассаже очень точно - хотя и не впрямую - очертил психологический парадокс, игравший немалую роль в духовном бытии русского человека на Кавказе: восторг перед грандиозным величием горного пейзажа, смешанный с ужасом почти мистическим. Дело, разумеется, было не только в тех трудностях, которые создавали особенности рельефа в чисто военном плане.

Кавказские войска постепенно выработали рациональную тактику ведения боевых действий в горных условиях. Дело было в ощущении экзистенциальной чуждости этого пространства, воспринимаемого как пространство инфернальное, находящееся по другую сторону человеческой жизни, пространство смерти.

Причем смерть в данном случае не ассоциировалась с реальной боевой опасностью. Отношение к непримиримой Чечне, где пуля и шашка горца подстерегали солдата и офицера на каждом шагу, тому свидетельством. Хотя труднопроходимые, изрезанные оврагами дебри ичкерийских лесов были несопоставимы с лесами среднерусскими. Надо иметь в виду тогдашнюю ограниченность географического опыта русского военного человека. И солдаты и офицеры в подавляющем большинстве рекрутировались из жителей центральной и северо-западной России. Они не знали ни Алтайских гор, ни гор Средней Азии. Редко кто из них пересекал даже низкорослые Уральские горы. Весьма немногие офицеры бывали в Альпах. И потому горный пейзаж вообще был совершенно особым психологическим опытом для русского человека. Тем более чудовищный дагестанский лабиринт.

В XVIII веке русскому военному человеку не раз приходилось преодолевать психологический барьер, осваивая сущностно чуждое пространство. Такова была ситуация Персидского похода Петра I и его последствий - попытка закрепиться на восточном берегу Каспия. Наиболее ярким примером была судьба двух полков, оставленных Петром в крепости у Красных Вод (будущий Красноводск). Полки почти вымерли за два года не только от дурной воды и климата, но и от мучительного ощущения несовместимости с окружающим миром - черные скалы, пустыня, жара, обилие змей и других гадов, мутно-зеленое море у побережья - фантастический для русского человека

мир, и в самом деле напоминающий преисподнюю. Однако опасность кавказской жизни, близость смерти для определенной части русского дворянства являла одну из притягательных черт Кавказа. "Благодаря привычке к вечно повторяющейся опасности картина смерти стала совершенно обыденной и постоянно предоставляется уму тех, кто давно живет на Кавказе. Для тех же, кто там родился, - смерть соседка, и когда она является, то почти что не тревожит того, кого подкашивает, а для тех, кто видит, как умирают, - смерть простой случай... Для казака выстрел из винтовки то же самое, что большая тунга кахетинского вина для ленивого жителя благословенной Грузии... Мысль о смерти зачастую представляется в виде шутки. Помню, как однажды Фрейтаг выслушивал сообщение лазутчика, когда я вошел к нему в палатку; взглянув на меня, чеченец расхохотался, а когда я спросил его о причине смеха, то он ответил мне пренаивно, что он в это же утро забавлялся тем, что дал по мне три выстрела, ни разу не попав, и что теперь ему смешно меня видеть".

118

Другой ветеран-кавказец писал в воспоминаниях: "Кто служил в рядах Кавказских войск, кто сроднился с Кавказом, тот навсегда сохраняет в душе самое приятное воспоминание об этом времени своей жизни и о роскошном, чудном и своеобразном крае... Причина подобного чувства заключается, я думаю, не столько во влиянии климата и природы, сколько в самой жизни кавказца, полной трудов и лишений, но привлекательной разнообразием ощущений, часто сильных, и беззаботностью, неразлучной с сознанием всегдашней опасности за жизнь. Сегодня жив, завтра нет, так стоит ли думать о будущем..."

Любопытно, что для русских дворян, воевавших на Кавказе во второй половине XVIII века, Кавказ представлялся вполне заурядным театром военных действий, затрудненным, правда, усложненным рельефом. Никакой особенности Кавказа как пространства, несущего новую культурно-психологическую нагрузку, мы не обнаружим в офицерских и генеральских воспоминаниях того периода.

Первые признаки иного подхода к войне на Кавказе как образу жизни появляются в начале XIX века. Собственно, с достаточной уверенностью мы можем привести один, но знаменательный пример. Это пример молодого гвардейца Михаила Семеновича Воронцова, заложившего позже в 1840-1850-х годах - основы покорения края. С него начинается кавказский миф, радикально изменивший судьбы многих незаурядных людей. Миф о Кавказе как сфере высокой самореализации.

Рафинированный аристократ граф Михаил Воронцов, воспитанный в Англии, где его отец был послом, вернувшись в Россию, пренебрег открывавшейся перед ним карьерой и, несмотря на возражения отца, отправился в 1803 году на Кавказ к генералу князю Цицианову, тогда уже обретавшему черты легендарной фигуры. Это было, как писал в эпилоге "Кавказского пленника" Пушкин:

*Когда на Тереке седом  
Впервые грянул битвы гром  
И грохот русских барабанов,  
И в сече с дерзостным челом  
Явился пылкий Цицианов.*

Воронцов в Петербурге принадлежал к кружку гвардейских интеллектуалов, европейский культурный климат ему был внятнее не только по заморскому воспитанию, и его стремление именно на Кавказ определялось отнюдь не только желанием приобрести боевой опыт и уж наверняка не карьерными соображениями. Карьера у него и так шла вполне успешно.

Молодой Воронцов не был прекраснородушным мечтателем и не склонен был романтизировать сами военные действия. Он побывал в тяжелейших экспедициях против лезгин, чудом спасся при разгроме горцами отряда генерала Гулякова, участвовал в изнурительной и кровавой осаде Эривани. В сентябре 1804 года он писал из Тифлиса своему петербургскому другу полковнику Арсеньеву, пылкому идеалисту, вскоре убитому на дуэли:

119

"Я же между тем отдыхаю здесь после похода, который все считают в числе труднейших бывших в здешнем крае. Беспрестанные драки ничего бы не значили, хотя и потеряли мы в оных довольно людей; но поддели нас больше недостаток в провианте, страшная жара и особливо болезни, которые до того простирались, что больше шести недель половина корпуса лежала, а другая половина более походила на тень человеческую, нежели на настоящих воинов. И в этом-то состоянии, имея менее 2000 под ружьем и расположенные на семи верстах кругом неприятельского города, в котором было до шести тысяч гарнизону, а вокруг нас персидская армия до 45000, мы дрались почти всякий день и всегда побеждали, так что, когда уже не стало ни хлеба, ни способов к доставлению оного, и что мы по сей причине принуждены были снять блокаду, персияне не смели почти беспокоить наше отступление, хотя оно было и труднейшее... В один день они нас потревожили серьезно следующим образом. Ветер был сильный, нам в тыл, а трава в степи весьма сухая от больших жаров. Они ее зажгли, так что обоз был в крайней опасности, и особливо находящиеся сзади зарядные и патронные ящики. В самое то время они сделали со всех сторон сильное нападение. Тут было очень жутко. Однако, хотя и с большим трудом, успели, наконец, огонь потушить плащами и мешками и пр., а персиян отбить штыками".

За два года службы у "пылкого Цицианова", затевавшего самые рискованные операции и, в конце концов, по причине своего бесстрашия и погибшего, Воронцов мог вполне насытиться боевыми впечатлениями, если бы дело было только в них. Но в июне следующего года, уже из Петербурга, он писал тому же Арсеньеву, находившемуся на острове Корфу в составе экспедиционного русского отряда: "Ты справедливо заключил, что мне хотелось остаться при князе Цицианове. Я тебя уверяю, что ежели б не получал я писем от батюшки, в коих он непременно требовал моего возвращения, то и теперь бы я был в Грузии. Я так был во всем счастлив в том краю, что всегда буду помнить об оном с крайним удовольствием и охотно опять поеду, когда случай и обстоятельства позволят".

120

Отчего европеец. Воронцов, тонкий и образованный аристократ, ценитель итальянской оперы и сам музыкант, а не кровожадный рубака, был так счастлив, участвуя в жестокой резне с лезгинами, командуя полуживыми от голода солдатами в Эриванском походе, отбиваясь из последних сил от персов в горящей степи? Трудно сказать, насколько в начале XIX века было уже идеологически осознано особое обаяние Кавказа как культурно-психологического явления. Но оно уже зарождалось, чтобы в ермоловскую эпоху стать существенным фактором в самосознании просвещенного русского дворянина, человека с идеями. Для того, чтобы в ситуации тяжелого психологического кризиса единичные случаи стали мощной тенденцией, нужен был идеологический толчок. Сразу после окончания наполеоновских войн он и произошел.

Кавказ как культурно-психологический феномен, как выход из дискомфорта, как возможность психологической компенсации был открыт для ищущего русского дворянина романтизмом.

Романтизм - культурное явление великой сложности и многообразия, но в данном случае важна его неперемнная составляющая - вера в существование иного мира, кроме обыденного, мира не обязательно идеального, но предоставляющего иные возможности, иную степень свободы, иное качество свободы.

Решительное наступление на Кавказ в ермоловский период, совпавший по времени с экспансией в Россию байронической идеологии, имело для русского дворянина совершенно особый смысл - отличный от смысла освоения Сибири, а позднее - Средней Азии. Ни предкрымская степь, аналогичная степям Южной России, ни благодатные крымские берега с их уютными игрушечными горами не могли вызвать психологического потрясения, в них не было иного качества, их легко было осознать, к ним легко было привыкнуть. Быстро покорившееся крымское население, сразу же обезоруженное, не являло для привыкшего к российской полиэтничности русского человека никакой загадки.

Освоение Сибири было фактически мирным - на первом этапе чисто военные задачи решались отрядами казаков максимальной численностью в несколько сотен сабель, ее природа отличалась от собственно российской только масштабами, - но и в России были огромные леса на Брянщине, Тамбовщине, на архангельском Севере, были полноводные реки - и здесь не могло быть потрясения.

Освоение новых пространств русским народом проходило без психологического напряжения, без ломки миропредставлений, без воздействия на духовный мир, на общественное сознание, без формирования нового человеческого типа. Пока Россия не подошла вплотную к Кавказу. Тут все изменилось.

121

Герои Байрона вырывались из повседневности, презирали общественные предрассудки, свободу и своеволие они ценили превыше всего. Когда романтическая идеология байронического толка широко проникла в сознание русских дворян, их особое внимание к Кавказу стало неизбежным. Кавказ с его гордым, вольным, буйным населением, с его природой, принципиально отличной от классической среднерусской, и был той иной сферой, иным миром, который сулил психологический выход из бытового тупика.

Для активной части дворянства, для которой романтическая идеология была не пустым звуком, Кавказ как вариант иного мира, в котором раскрывалось иное качество пространства - горы, который был населен иными людьми - свободными от европейских условностей, был воплощением принципа, который можно определить как принцип психологической компенсации. Неудовлетворенному дворянскому сознанию Кавказ не просто как географическое и этнографическое, но и как метафизическое явление давал возможность ощутить бытийную полноту. Этот иной мир был, он был достижим - и это уже было чрезвычайно важно.

Именно на основе восприятия Кавказа как иного мира возникло явление, сыгравшее немалую роль в русском общественном и культурном сознании, но малоизученное и малооцененное - кавказская утопия.

Утопия складывалась постепенно. Стимулом к ее возникновению была, как уже говорилось, глубокая неудовлетворенность реальностью и отчасти романтическая идеология. Она складывалась из историко-культурного мифа и представления о Кавказе как о принципиально другом мире.

В "Рубке леса" у Толстого бывший гвардеец Волхов, богатый, благополучный внешне человек, добровольно приехавший служить на Кавказ, на вопрос рассказчика - зачем он приехал на Кавказ, говорит: "По преданию. В России ведь существует пространное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей... Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными

девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками - все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого..."

122

Здесь и в самом деле таится какая-то загадка, и Толстой, проживший несколько лет на Кавказе, воевавший, бывавший в горах, пытался ее разрешить. С одной стороны, он понимал и несостоятельность "предания". В черновиках "Казаков" есть такой текст: "Странное существует в России мнение о действии, производимом жизнью на Кавказе на состояние, характер, нравственность, страсти и счастье людей. Промотавшийся юноша, несчастный игрок, отчаянный любовник, неудавшийся умник, избличившийся трус или мошенник, оскорбленный честолюбец, горький бездомник, бобыль: все едут на Кавказ... По принятому мнению, это очень естественно. Я же до сих пор сколько ни напрягал свои умственные способности, - не мог еще объяснить себе, почему они едут именно на Кавказ, а не в Вологодскую или Могилевскую, или Нижегородскую губернию. Несчастный игрок на Кавказе больше, чем где-либо, будет несчастным, ежели только не гадким. Неудавшийся умник найдет много предшественников на Кавказе и скорее, чем где-нибудь, будет понят. Трус останется трусом, сколько бы раз он ни ходил в походы и не подвергал без цели жизнь свою опасности. Честолюбец, тоже едва ли найдет то, что ожидает, так как на Кавказе еще меньше, чем везде, успех зависит от достоинства и усердия. Остается один отчаянный любовник, который в кровавом бою хочет сложить свою голову и тем самым, по какому-то странному умозаключению, отмстить неприступной, коварной или жестокой; но и то мне кажется, что уж ежели он непременно намерен лишиться себя жизни, то можно бы было сделать это удобнее, вернее и скорее - дома". Толстой так не думает, но он предполагает, так сказать, рациональную антитезу кавказскому мифу, кавказской утопии. Сам же он писал в письме своей тетушке графине Александре Толстой, с которой был очень откровенен: "Пришло время, что жизнь начала терять свой смысл. Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в то время, продолжавшееся 2 года". И в это вполне можно поверить. Вскоре после отъезда с Кавказа 5 марта 1855 года он записал: "Разговор о божественном и вере

123

навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле".

У философа Кьеркегора есть замечательное выражение - "Головокружение свободы". Речь идет не о свободе политической, так сказать, низшей свободе, но о свободе духа, свободе экзистенциальной, определяющей не бытовую, но высокую судьбу человека.

Вот это выражение - "Головокружение свободы" - в высшей степени применимо к грандиозным замыслам Толстого на Кавказе. И в известной степени к состоянию тех, кто был увлечен кавказской утопией.

Одним из основополагающих источников не прагматического знания, но восприятия Кавказа как некоего надбытового явления, была поэма Пушкина "Кавказский пленник". На нее ссылаются многие из adeptов кавказской утопии. Там сказано о герое:

*Отступник света, друг природы,  
Покинул он родной предел  
И в край далекий полетел  
С веселым призраком свободы.*

*Свобода! он одной тебя  
Еще искал в пустынном мире...*

Итак, герой Пушкина, русский дворянин, очевидно, офицер, полетел на Кавказ за свободой.

Что же это была за свобода? О горской свободе писали и до Пушкина. Жуковский в 1814 году в стихотворении, посвященном отчасти Кавказу, писал о горцах:

*Пищаль, кольчуга, сабля, лук  
И конь - соратник быстроногий -  
Их и сокровища и боги;  
Как серны, скачут по горам,  
Бросают смерть из-за утеса;  
Или, по топким берегам,  
В траве высокой, в чаше леса  
Рассыпавшись, добычи ждут.  
Скалы свободы их приют.*

Это та самая "дикая свобода", о которой много писали и говорили, свобода насилия, разбоя, неподчиненности. Но вряд ли герой Пушкина стремился на Кавказ за такой свободой.

У известного славянофила Ивана Сергеевича Аксакова в одной из статей есть определение свободы: "Свобода! Кому не дорого это слово! Не желание ли свободы движет сердцами всех честных людей?.. Свобода есть понятие совершенно духовное и зиждется на нравственном уважении к человеческой личности и признанием за ней нравственных прав на независимость духовную".

Вот эта формула, на мой взгляд, и была - часто подсознательно - сутью кавказской утопии в ее нравственном аспекте - право на независимость духовную.

Элементы политической "вольности", разумеется, на Кавказе в определенные периоды были. Но, если вернуться к Пушкину, то маловероятно, что его герой ждал там полной внешней независимости: все, кто отправлялся на Кавказ, - служили, были включены в достаточно жесткую систему. Речь шла о

124

внутреннем самоощущении, которое давал принципиально иной мир, которое давало соприкосновение с носителями особой свободы - отнюдь не только хищной, которой обладали горцы, - свободы абсолютного самоуважения, осознания своей внутренней независимости, которая органично сливалась с независимостью внешней. Свобода как независимость. Разумеется, мы говорим все же именно об утопии. В горском мире тоже все было и в этом смысле не так идиллично. Но речь идет о восприятии этого мира русскими дворянами. О солдатах разговор особый.

Почему именно Кавказ давал возможность этой внутренней независимости или, по крайней мере, иллюзию независимости?

Если продолжить цитату из "Рубки леса", то Толстой там говорит очень важную вещь. В ответ на скептический пассаж капитана Волхова он отвечает: "Да, мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Когда читаешь стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?" То

есть Кавказ для русского человека - другая знаковая система, внутри которой отпадают многие привычные критерии. Отсюда и возможность внутреннего раскрепощения. Причем сюда входит многое. В частности, как уже говорилось, характер природы - горы как доминанта, нечто принципиально новое для человека с великой русской равнины. Известно замечательное описание появления гор в "Казаках", переворачивающее взгляд героя на мир.

Сочетание прекрасного и ужасного, смерти и свободы и было одной из мощно притягательных черт Кавказа, стимулирующей бытование кавказской утопии. Отмеченный чутким и тонким Бенкендорфом inferнальный аспект кавказского горного мира - об этом писали и другие мемуаристы и путешественники по Кавказу, - объясняет, в частности, почему, например, Лермонтов избрал Кавказ местом действия своей великой поэмы "Демон" - ареной борьбы добра и зла, рая и ада.

Кавказская утопия имеет два слоя, причем оба связаны с представлением о свободе-независимости. Первый, о котором здесь шла речь, - дворянский. Второй - народный, актуальный для солдат и казаков, переселенцев-сектантов.

Тот же Бенкендорф оставил очень любопытные утверждения, касающиеся одного из аспектов кавказского мифа: "Страна, подобная Кавказу, где место, занимаемое человеком, - ничто, а сам человек - все... такая страна облагораживает человека, отдавшего ей душой и телом... Зачем лишать себя этого неоценимого сокровища - «Кавказа», который суть никто другой, как тот же русский, переделанный Кавказом!" Это парадоксальное, на первый взгляд, но значимое по существу утверждение. Дело в том, что настоящие русские 125

кавказцы воспринимали Кавказ как единое целое. Несмотря на ожесточенное противостояние с большей частью горцев, они не проводили роковую границу между собой и горскими народами. Это имеет отношение к существующей ныне теории фронта как особой зоны. Кавказ был для русских кавказцев своим, а с горцами их связывали сложные и подчас причудливые психологические отношения. "Амалат-бек" Марлинского, которым так увлекались будущие кавказцы, построен именно на дружбе-вражде русского офицера и горского аристократа.

Эта причудливость психологических отношений существовала и на уровне солдат.

В воспоминаниях Бенкендорфа есть поразительная сцена: "Однажды, в одном селении, в базарный день, возникла ссора между чеченцами и апшеронцами; куринцы не преминули принять в ней серьезное участие. Но кому они пришли на помощь? Конечно, не апшеронцам! «Как нам не защищать чеченцев, - говорили куринские солдаты, - они наши братья, вот уже 20 лет, как мы с ними деремся!...»"

Солдаты Куринского полка - элита Кавказского корпуса, - вставшие на защиту чеченцев против солдат Апшеронского полка и объясняющие это боевым братством, - не потому, что они воевали вместе с чеченцами, а потому, что воевали против них, - ключевая ситуация для понимания кавказского мира периода войны, в значительной мере объясняющая возникновение кавказской утопии.

Главное, конечно, было не в воздействии природы, а в восприятии горца. Это большая и сложная тема. Это восприятие эволюционировало с XVIII века по середину XIX-го. Но в классический период Кавказской войны складывалось восприятие горца как фигуры не только враждебной, коварной, опасной, но и таинственной, закрытой для понимания, явлением другого, быть может, более высокого по некоторым своим чертам мира.

Можно предположить, что кавказская утопия была запоздалой реакцией на петровскую

закованность человеческой личности, индивидуальной воли по квазиевропейскому образцу, когда на смену относительной самостоятельности в частной жизни дворянина пришла "регулярность", жесткое включение в систему. Дело было, как уже говорилось, не в политической свободе, но в принципиально ином способе существования. В горах были, разумеется, ограничения человеческому самовольству, но они оставляли свободной индивидуальную независимость. В этом отношении Кавказ был противовесом русской жизни. Отсюда его обаяние для неудовлетворенного русского дворянина. Кавказ как мир предельных состояний - в природе, в силе человеческих страстей, в постоянной близости опасности и смерти, был антиподом российской скованности. Душевная размашистость русского человека была искусственно скована сконструированными сдержками. Горец же органичен в своей свободе и ограничен естественно сложившимися обычаями. Горец - непрерывная естественная традиция, дающая прочную психологическую опору. Русский дворянин - жертва прерванной традиции, испытывающий дискомфорт от неорганичности системы, в которую он включен. Горец живет непререкаемым преданием, русский дворянин - писанной историей, которую легко поставить под сомнение.

126

Вспомним, как описывает Толстой в "Казаках" чеченцев: "Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженной и выкрашенной красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь... Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся". И далее: "Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде". И сцена гибели окруженных абреков: "Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни... Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтобы избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колена с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню".

Горец - человек иного уровня, иного характера самооценки, чем русский дворянин. Он непонятен в своей гордыне, презрении к смерти, он существо иного мира - как правило, враждебного на примитивном военно-политическом уровне, но притягательного своей контрастностью по отношению к русскому миру, сулящему неясные, но заманчивые возможности.

Известны примеры волевых попыток войти в этот мир, принять его правила, оставаясь одновременно человеком русского, европейского мира. В предельном случае это приводило к разрушению этических основ.

Один из наиболее ярких примеров - Александр Якубович, о котором Пушкин писал Александру Бестужеву: "Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе".

Позже в набросках "Романа на Кавказских водах" Пушкин конкретизировал термин "разбойничал", но уже всерьез и с явной этической окраской. Персонаж - Кубович, прототипом которого был Якубович, вместе с горцами занимается похищением русского офицера.

127

Была целая категория кавказцев, которые вели войну с горцами горскими методами. При этом размывались границы представлений о допустимом. С европейской точки зрения.

Восприятие русским дворянином кавказского мира приводило к возникновению противоречивой, многосмысленной, парадоксальной картины, в основе которой лежала идея завоевания как императива, и в то же время пересекающееся с ней сомнение в правомочности этого завоевания. Вспомним запись в дневнике Толстого: "Все утро мечтал о покорении Кавказа". В то же время в автобиографических "Казаках" герой мечтает, подъезжая к Кавказу: "То с необычайной храбростью и удивляющею всех силой

он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость".

В черновых вариантах "Набега" есть потрясающей силы пассаж: "На чьей стороне чувство самосохранения и, следовательно, справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джемиджи, который, услышав о приближении русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя, зарядами в заправках, которые он выпустит недаром, побежит навстречу гяурам, который, увидав, что русские все-таки идут вперед, продвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все, что только может составить его счастье, все отнимут у него, - в бессильной злобе, с криком отчаяния сорвет с себя оборванный зипунишко,

128

бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза папаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских? На его ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки?.. Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал на Кавказ... так, чтобы показать свою храбрость". Что касается русского офицера, то здесь то мы имеем дело в большей степени с художественным приемом - резко контрастные варианты, - чем с кавказской реальностью. Гвардейцы, приехавшие на Кавказ только за наградами и чинами и там не задерживающиеся, были фактором глубоко второстепенным. Несчастному Джемиджи противостояли "коренные кавказцы", воспринимавшие этот край как органически свой и отношение которых к горцам было, как уже говорилось, достаточно парадоксальным. Генерал Филипсон, служивший на Кавказе много лет и прекрасно его знавший, один из немногих сторонников гуманно-цивилизаторского метода, в своих воспоминаниях, характеризуя горцев, обронил многозначительную фразу: "Воровство и разбой, как в древней Спарте, были у черкесов в чести; позорно было только быть пойманным в воровстве". Надо помнить, какую роль играли античные реминисценции в сознании просвещенного дворянина, чтобы понять значение этого уподобления. Горский "хищник" - под воровством здесь подразумевается набеговая практика, - ставился, таким образом, в значительный культурно-смысловой ряд.

Словосочетание "горское рыцарство" было вполне привычным. М. Венюков, известный этнограф, в молодости воевавший на Кавказе, писал: "Я сейчас упомянул о горском рыцарстве. Оно проявлялось во многом, хотя бы, например, в честном держании условий о перемириях, не говоря уже о прославленном их гостеприимстве. Они, например, были сконфужены, что при выдаче за выкуп одного пленного русского семейства забыли спящего ребенка и не знали, как без стыда для себя передать его родителям... С нами они дрались, но уважали нас".

Горец - ожесточенный противник, хищник, живущий разбоем, горский рыцарь, свято соблюдающий благородные обычаи, загадочное существо, не пускающее гяуров в свой особый мир, превыше всего ценящий свою "дикую свободу" и достоинство, - мощно влиял своим существованием на смятенное сознание русского дворянина, ищущего смысла бытия. Горский мир притягивал русского дворянина своим очевидным контрастом с привычным и опостылевшим миром, из которого он "эмигрировал" на Кавказ.

129

Лермонтов писал в замечательном по психологической убедительности очерке "Кавказец" о типичном "русском кавказце": "Последнее время он подружился с одним мирным черкесом; стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченности светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне обычаи

и нравы горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств". В приведенных сиенах из "Казачков" чеченцам придается значительность, какой не обладают казаки и тем более Оленин.

Одним из глубоко осмысленных парадоксов русского мира Кавказа было отношение русских офицеров к внешним атрибутам, присущим горцам. Горский костюм, который, очевидно, с ермоловских времен стали носить русские офицеры (со временем некоторые части Кавказского корпуса получили горскую одежду как официальный военный костюм), изначально имел куда более серьезное значение, чем просто удобная боевая одежда. Одежда Кавказского корпуса с тех же ермоловских времен была не менее удобной. И тем не менее... Мы располагаем массой свидетельств о том, какую роль играл горский костюм в самоощущении русского офицера.

Лермонтов писал в том же очерке: "Он (русский офицер - Я.Г.) легонько маракует потатарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал - старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь - чистый Шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и шит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невообразимости".

Аристократ Печорин одевался так, что казаки принимали его за кабардинца.

Зиссерман, прослуживший на Кавказе четверть века, писал в воспоминаниях: "Сами чеченцы не усомнились бы признать меня своим земляком, так преобразился я несколькими годами пребывания среди горцев и увлеченный поэтической стороной их воинственной полудикой жизни; ну, а наружно и говорить нечего: бритая голова, маленькая русая козлиная бородка, загорелое лицо, костюм, оружие и все ухватки до тончайшей подробности не уступали оригиналу".

130

Русские завоеватели высшим достижением считают максимальное отождествление себя с горцами. Когда Лермонтов писал, что Печорин гордился своим неотличимым сходством с кабардинцем, то он знал, что говорил: "С тех пор, как я выехал из России... изъездил линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Куба, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски". Это - из письма другу С. Раевскому в 1837 году.

Можно с достаточной вероятностью предположить, что насмешки Лермонтова над Мартыновым, в мирной обстановке носившем утрированный горский костюм - "горец с большим кинжалом"! - были вызваны именно этой профанацией обычая, глубокую суть которого Лермонтов понимал.

Зиссерман гордится тем, что его не отличить от чеченца. Причем, это не только самооценка. Наместник Кавказа Воронцов, выросший и воспитанный, как мы знаем, в Англии, был в восторге от вида Зиссермана. Генерал Засс, прославившийся своими набегами на горские аулы, не только сам носил черкесский костюм, но и все его окружение одевалось так же.

Ношение горского костюма русскими офицерами было явлением знаковым. Оно означало стремление влиться в исконный мир Кавказа, отделиться таким образом от русского мира (при этом не теряя чувства имперского патриотизма).

Это стремление могло возникнуть и проводиться с такой настойчивостью только в том случае, если мир Кавказа воспринимался как нечто более значительное, чем русский мир. И, стало быть, горец, которого копировали русские офицеры, воспринимался как личность с более высоким экзистенциальным статусом. Горец воспринимался как носитель свободы, русскому человеку недоступной.

Любовь славянофилов к русскому платью - допетровской эпохи: платье это они носили

как вызов, как символ отрицания европеизма. Это было осознанное оппозиционное действие, но достаточно поверхностное и искусственное. Славянофилы не пытались, да и не могли вжиться в мировосприятие допетровского русского человека. Черкесское платье русского "кавказца" было, по сути дела, таким же вызовом, но скорее подсознательным и потому более глубоким. Русский офицер органично воспринимал мир Кавказа как свой мир.

Черкесское платье, верховая посадка, оружие - имитация облика джигита. Джигит - концентрация достоинств свободного человека и высшая похвала как для горца, так и для русского.

И здесь снова нужно вспомнить о принципе "психологической компенсации", о котором уже шла речь. Литератор, публицист Евгений Марков, автор лучшего анализа толстовских "Казачков", путешествовавший по Кавказу и хорошо его понимавший, писал в 1880-х годах: "Когда смотришь в одно время на лезгина и на нашего брата вахлака-русского, то русский производит впечатление неуклюжего травоядного животного рядом со статным и смелым хищником. У лезгина пестрота наряда какой-нибудь пантеры или барса, грация и гибкость ее движений, ее страшная сила, воплощенная в изящные стальные формы".

131

Разумеется, Марков преувеличивает контраст. Казаки-линейцы часто не уступали горцам в боевой выучке и сноровке. Но очевидно, что русский офицер осознавал разницу своих возможностей и возможностей горца. И дело было отнюдь не только в чисто военном соревновании. Горец идеально вписывался в окружающий мир, что создавало основу его высокого самосознания. Имитируя внешние формы, русский офицер сознательно или подсознательно стремился сравняться с горцем именно во взаимоотношениях с миром.

За пределами данного очерка осталось много принципиально важных составляющих заявленной в заглавии темы. В частности, культурно-исторический аспект, игравший немалую роль в идеологии завоевания как императива.

Едва ли не самый влиятельный имперский публицист-идеолог второй половины XX века в России Михаил Катков писал в издаваемых им Московских ведомостях 27 мая 1864 года, в передовой статье, посвященной окончанию Кавказской войны:

"Припомним, что с Кавказом соединяются древнейшие предания Греции, начавшей историю Европы и положившей первые основания европейской образованности и гражданственности. Припомним также, что с Кавказом же соединяются и некоторые воспоминания из древнейшего периода русской истории - из периода Киевской Руси, когда впервые появился на свет русский народ и Русская земля. Кавказ, классическая Колхида, страна золотого руна, куда ходили герои первого полумифического предприятия вступавшей в историческую жизнь Европы, был также знаком нашим богатырям, которые добрались до него еще на заре нашей исторической жизни. Удалые князья Киевской Руси, наметившие копьем своим границы Русской земли, не забыли Кавказа. Что было намечено Киевской Русью в ту первую пору, то все или почти все приобрел и возвратил себе русский народ после многих невзгод и испытаний, в которых дробилась его область и сам он разрывался на части и подвергался иноземному игу. За Русской землей утвердился, как ее неотъемлемая принадлежность, как ее кровное достояние, и Кавказ".

Геополитические выкладки Каткова сомнительны и конъюнктурны, но мысль о роли Кавказа в культурных представлениях русских людей вполне справедлива. Тот же Марков в "Очерках Кавказа" писал: "Античные писатели помещали государство амазонок именно на Кавказе. Целый комплекс древних античных мифов вместе с Кавказом вошел в русскую мифологию".

Роль феномена Кавказа в русском общественном и культурном сознании XIX века была значительно выше, чем мы это себе представляем. И это делало для русского офицера органичной идею включения кавказского мира в общероссийский мир как исторически и

культурно необходимый фрагмент империи, а не просто как колонизированное пространство.